

И. С. ТУРГЕНЕВ
(1818 – 1883)



ИЗ ЦИКЛА «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»

***Касьян с Красивой Мечи*¹**

Я возвращался с охоты в тряской тележке и, подавленный душным зноем летнего облачного дня (известно, что в такие дни жара бывает иногда ещё несноснее, чем в ясные, особенно когда нет ветра), дремал и покачивался, с угрюмым терпением предавая всего себя на съедение мелкой белой пыли, беспрестанно поднимавшейся с выбитой дороги из-под рассохшихся и дребезжавших колёс, – как вдруг внимание моё было возбуждено необыкновенным беспокойством и тревожными телодвижениями моего кучера, до этого мгновения ещё крепче дремавшего, чем я. Он задёргал вожжами, завозился на облучке и начал покрикивать на лошадей, то и дело поглядывая куда-то в сторону. Я осмотрелся. Мы ехали по широкой распаханной равнине; чрезвычайно пологими, волнообразными раскатами сбегали в неё невысокие, тоже распаханые холмы; взор обнимал всего каких-нибудь пять вёрст пустынного пространства; вдали небольшие берёзовые рощи своими округленно-зубчатыми верхушками одни нарушали почти прямую черту небосклона. Узкие тропинки тянулись по полям, пропадали в лощинках, вились по пригоркам, и на одной из них, которой в пятистах шагах впереди от нас приходилось пересекать нашу дорогу, различил я какой-то поезд. На него-то поглядывал мой кучер.

Это были похороны. Впереди, в телеге, запряжённой одной лошадкой, шагом ехал священник; дьячок сидел возле него и правил; за телегой четыре мужика, с обнажёнными головами, несли гроб, покрытый белым полотном; две бабы шли за гробом. Тонкий, жалобный голосок одной из них вдруг долетел до моего слуха; я прислушался: она голосила. Уныло раздавался среди пустых полей этот переливчатый, однообразный, безнадежно-скорбный напев. Кучер погнал лошадей: он желал предупредить этот поезд. Встретить на дороге покойника – дурная примета. Ему действительно удалось проскакать по дороге прежде, чем покойник успел добраться до неё; но мы ещё не отъехали и ста шагов, как вдруг нашу телегу сильно толкнуло, она накренилась, чуть не завалилась. Кучер остановил разбежавшихся лошадей, нагнулся с облучка, посмотрел, махнул рукой и плюнул.

– Что там такое? – спросил я.

Кучер мой слез молча и не торопясь.

– Да что такое?

– Ось сломалась... перегорела, – мрачно отвечал он и с таким негодованием поправил вдруг шлею на пристяжной, что та совсем покачнулась было набок, однако

¹ *Красивая Меча* – река в Тульской и Липецкой областях, правый приток Дона.

устояла, фыркнула, встряхнулась и преспокойно начала чесать себе зубом ниже колена передней ноги.

Я слез и постоял некоторое время на дороге, смутно предаваясь чувству неприятного недоумения. Правое колесо почти совершенно подвернулось под телегу и, казалось, с немим отчаянием поднимало кверху свою ступицу.

– Что теперь делать? – спросил я наконец.

– Вон кто виноват! – сказал мой кучер, указывая кнутом на поезд, который успел уже свернуть на дорогу и приближался к нам, – уж я всегда это замечал, – продолжал он, – это примета верная – встретить покойника... Да.

И он опять обеспокоил пристяжную, которая, видя его нерасположение и суровость, решила остаться неподвижной и только изредка и скромно помахивала хвостом. Я походил немного взад и вперед и опять остановился перед колесом.

Между тем покойник нагнал нас. Тихо свернув с дороги на траву, потянулось мимо нашей телеги печальное шествие. Мы с кучером сняли шапки, раскланялись с священником, переглянулись с носильщиками. Они выступали с трудом; высоко поднимались их широкие груди. Из двух баб, шедших за гробом, одна была очень стара и бледна; неподвижные её черты, жестоко искажённые горестью, хранили выражение строгой, торжественной важности. Она шла молча, изредка поднося худую руку к топким, ввалившимся губам. У другой бабы, молодой женщины лет двадцати пяти, глаза были красны и влажны, и всё лицо опухло от плача; поравнявшись с нами, она перестала голосить и закрылась рукавом... Но вот покойник миновал нас, выбрался опять на дорогу, и опять раздалось её жалобное, надрывающее душу пение. Безмолвно проводив глазами мерно колыхавшийся гроб, кучер мой обратился ко мне.

– Это Мартына-плотника хоронят, – заговорил он, – что с Рябой.

– А ты почему знаешь?

– Я по бабам узнал. Старая-то – его мать, а молодая – жена.

– Он болен был, что ли?

– Да... горячка... Третьего дня за дохтуром посылал управляющий, да дома дохтура не застали... А плотник был хороший; зашибал маненько, а хороший был плотник. Вишь, баба-то его как убивается... Ну, да ведь известно: у баб слёзы-то некупленные. Бабы слёзы та же вода... Да.

И он нагнулся, пролез под поводом пристяжной и ухватился обеими руками за дугу.

– Однако, – заметил я, – что ж нам делать?

Кучер мой сперва уперся коленом в плечо коренной, потрянул раза два дугой, поправил седёлку, потом опять пролез под поводом пристяжной и, толкнув её мимоходом в морду, подошёл к колесу – подошёл и, не спуская с него взора, медленно достал из-под полы кафтана тавлинку², медленно вытащил за ремешок крышку, медленно всунул в тавлинку своих два толстых пальца (и два-то едва в ней уместились), помял-помял табак, перекошил заранее нос, понюхал с расстановкой, сопровождая каждый приём продолжительным кряхтением, и, болезненно щурясь и моргая прослезившимися глазами, погрузился в глубокое раздумье.

– Ну, что? – проговорил я наконец.

Кучер мой бережно вложил тавлинку в карман, надвинул шляпу себе на брови, без помощи рук, одним движением головы, и задумчиво полез на облучок.

– Куда же ты? – спросил я его не без изумления.

– Извольте садиться, – спокойно отвечал он и подобрал вожжи.

– Да как же мы поедем?

– Уж поедем-с.

– Да ось...

² Тавлинка – берестяная табакерка.

– Извольте садиться.
– Да ось сломалась...
– Сломалась-то она сломалась; ну, а до выселок доберёмся... шагом, то есть. Тут вот за рощей направо есть выселки, Юдиными прозываются.

– И ты думаешь, мы доедем?

Кучер мой не удостоил меня ответом.

– Я лучше пешком пойду, – сказал я.

– Как угодно-с...

И он махнул кнутом. Лошади тронулись.

Мы действительно добрались до выселков, хотя правое переднее колесо едва держалось и необыкновенно странно вертелось. На одном пригорке оно чуть-чуть не слетело; но кучер мой закричал на него озлобленным голосом, и мы благополучно спустились.

Юдины выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться набок, хотя их, вероятно, поставили недавно: дворы не у всех были обнесены плетнём. Въезжая в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души; даже куриц не было видно на улице, даже собак; только одна, чёрная, с куцым хвостом, торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда её, должно быть, загнала жажда, и тотчас, без лая, опрометью бросилась под ворота. Я зашёл в первую избу, отворил дверь в сени, окликнул хозяев – никто не отвечал мне. Я кликнул ещё раз: голодное мяуканье раздалось за другой дверью. Я толкнул её ногой: худая кошка шмыгнула мимо меня, сверкнув во тьме зелёными глазами. Я всунул голову в комнату, посмотрел: темно, дымно и пусто. Я отправился на двор, и там никого не было... В загородке телёнок промычал; хромой серый гусь отковылял немного в сторону. Я перешёл во вторую избу – и во второй избе ни души. Я на двор...

По самой середине ярко освещённого двора, на самом, как говорится, припёке, лежал, лицом к земле и накрывши голову армяком, как мне показалось, мальчик. В нескольких шагах от него, возле плохой тележки, стояла, под соломенным навесом, худая лошаде́нка в оборванной сбруе. Солнечный свет, падая струями сквозь узкие отверстия обветшалого намета, пестрил небольшими светлыми пятнами её косматую красно-гнедую шерсть. Тут же, в высокой скворечнице, болтали скворцы, с спокойным любопытством поглядывая вниз из своего воздушного домика. Я подошёл к спящему, начал его будить...

Он поднял голову, увидел меня и тотчас вскочил на ноги... «Что, что надо? что такое?» – забормотал он спросонья.

Я не тотчас ему ответил: до того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми чёрными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Всё тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд.

– Что надо? – спросил он меня опять.

Я объяснил ему, в чём было дело, он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз.

– Так нельзя ли нам новую ось достать? – сказал я наконец, – я бы с удовольствием заплатил.

– А вы кто такие? Охотники, что ли? – спросил он, окинув меня взором с ног до головы.

– Охотники.

– Пташек небесных стреляете, небось?.. зверей лесных?.. И не грех вам Божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?

Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. В нём не только не слышалось ничего дряхлого, – он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен.

– Оси у меня нет, – прибавил он после небольшого молчания, – эта вот не годится (он указал на свою тележку), у вас, чай, телега большая.

– А в деревне найти можно?

– Какая тут деревня!.. Здесь ни у кого нет... Да и дома нет никого: все на работе. Ступайте, – промолвил он вдруг и лёг опять на землю.

Я никак не ожидал этого заключения.

– Послушай, старик, – заговорил я, коснувшись до его плеча, – сделай одолжение, помоги.

– Ступайте с Богом! Я устал: в город ездил, – сказал он мне и потащил себе армяк на голову.

– Да сделай же одолжение, – продолжал я, – я... я заплачу.

– Не надо мне твоей платы.

– Да пожалуйста, старик...

Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки.

– Я бы тебя свёл, пожалуй, на ссечки³. Тут у нас купцы рощу купили, – Бог им судья, сводят рощу-то, уж контору выстроили, Бог им судья. Там бы ты у них ось и заказал или готовую купил.

– И прекрасно! – радостно воскликнул я. – Прекрасно!.. пойдём.

– Дубовую ось, хорошую, – продолжал он, не поднимаясь с места.

– А далеко до тех ссечек?

– Три версты.

– Ну что ж! Мы можем на твоей тележке доехать.

– Да нет...

– Ну, пойдём, – сказал я, – пойдём, старик! Кучер нас на улице дожидается.

Старик неохотно встал и вышел за мной на улицу. Кучер мой находился в раздражённом состоянии духа: он собрался было попоить лошадей, но воды в колодце оказалось чрезвычайно мало, и вкус её был нехороший, а это, как говорят кучера, первое дело... Однако при виде старика он осклабился, закивал головой и воскликнул:

– А, Касьянушка! здорово!

– Здорово, Ерофей, справедливый человек! – отвечал Касьян унылым голосом.

Я тотчас сообщил кучеру его предложение; Ерофей объявил своё согласие и въехал на двор. Пока он с обдуманной хлопотливостью отпрягал лошадей, старик стоял, прислонясь плечом к воротам, и невесело посматривал то на него, то на меня. Он как будто недоумевал: его, сколько я мог заметить, не слишком радовало наше внезапное посещение.

– А разве и тебя переселили? – спросил его вдруг Ерофей, снимая дугу.

– И меня.

– Эк! – проговорил мой кучер сквозь зубы. – Знаешь, Мартын-то, плотник... ты ведь Рябовского Мартына знаешь?

– Знаю.

– Ну, он умер. Мы сейчас его гроб повстречали.

Касьян вздрогнул.

– Умер? – проговорил он и потупился.

– Да, умер. Что ж ты его не вылечил, а? Ведь ты, говорят, лечишь, ты лекарка.

Мой кучер видимо потешался, глумился над стариком.

– А это твоя телега, что ли? – прибавил он, указывая на неё плечом.

– Моя.

³ Ссечки – место в лесу, где вырублены деревья.

– Ну, телега... телега! – повторил он и, взяв её за оглобли, чуть не опрокинул кверху дном... – Телега!.. А на чём же вы на ссечки поедете?.. В эти оглобли нашу лошадь не впряжешь: наши лошади большие, а это что такое?

– А не знаю, – отвечал Касьян, – на чём вы поедете; разве вот на этом животике, – прибавил он со вздохом.

– На этом-то? – подхватил Ерофей и, подойдя к Касьяновой клячонке, презрительно ткнул её третьим пальцем правой руки в шею. – Ишь, – прибавил он с укоризной, – заснула, ворона!

Я попросил Ерофея заложить её поскорей. Мне самому захотелось съездить с Касьяном на ссечки: там часто водятся тетерева. Когда уже тележка была совсем готова, и я кое-как вместе с своей собакой уже уместился на её покоробленном лубочном дне, и Касьян, сжавшись в комочек и с прежним унылым выражением на лице, тоже сидел на передней грядке, – Ерофей подошёл ко мне и с таинственным видом прошептал:

– И хорошо сделали, батюшка, что с ним поехали. Ведь он такой, ведь он юродивец, и прозвище-то ему: Блоха. Я не знаю, как вы понять-то его могли...

Я хотел было заметить Ерофею, что до сих пор Касьян мне казался весьма рассудительным человеком, но кучер мой тотчас продолжал тем же голосом:

– Вы только смотрите, того, туда ли он вас привезёт. Да ось-то сами извольте выбрать: поздоровее ось извольте взять... А что, Блоха, – прибавил он громко, – что, у вас хлебушком можно разжиться?

– Поищи, может, найдётся, – отвечал Касьян, дернул вожжами, и мы покатили.

Лошадка его, к истинному моему удивлению, бежала очень недурно. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя. Мы скоро доехали до ссечек, а там добрались и до конторы, высокой избы, одиноко стоявшей над небольшим оврагом, на скорую руку перехваченным плотиной и превращённым в пруд. Я нашёл в этой конторе двух молодых купеческих приказчиков с белыми как снег зубами, сладкими глазами, сладкой и бойкой речью и сладко-плутоватой улыбочкой, торговал у них ось и отправился на ссечки. Я думал, что Касьян останется при лошади, будет дожидаться меня, но он вдруг подошёл ко мне.

– А что, пташек стрелять идёшь? – заговорил он, – а?

– Да, если найду.

– Я пойду с тобой... Можно?

– Можно, можно.

И мы пошли. Вырубленного места было всего с версту. Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его чёрная, ничем не прикрытая головка (впрочем, его волосы могли заменить любую шапку) так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно всё подпрыгивал на ходу, беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос и всё поглядывал на меня и на мою собаку, да таким пытливым, странным взглядом. В низких кустах, «в мелочах», и на ссечках часто держатся маленькие серые птички, которые то и дело перемещаются с деревца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними; поршок⁴ полетел, чиликая, у него из-под ног – он зачиликал ему вслед; жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распевая, – Касьян подхватил его песенку. Со мной он всё не заговаривал...

Погода была прекрасная, еще прекраснее, чем прежде; но жара всё не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и лёгкие, как хлопчатая бумага, медленно, но видимо

⁴ Поршок – молодой перепел.

изменялись с каждым мгновением; они таяли, эти облака, и от них не падало тени. Мы долго бродили с Касьяном по ссечкам. Молодые отпрыски, ещё не успевшие вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими, гладкими стебельками почерневшие, низкие пни; круглые губчатые наросты с серыми каймами, те самые наросты, из которых вываривают трут, лепились к этим пням; земляника пускала по ним свои розовые усики; грибы тут же тесно сидели семьями. Ноги беспрестанно путались и цеплялись в длинной траве, пресыщенной горячим солнцем; всюду рябило в глазах от резкого металлического сверкания молодых, красноватых листьев на деревцах; всюду пестрели голубые гроздья журавлиного гороху, золотые чашечки куриной слепоты, наполовину лиловые, наполовину жёлтые цветы ивана-да-марьи; кое-где, возле заброшенных дорожек, на которых следы колес обозначались полосами красной мелкой травки, возвышались кучки дров, потемневших от ветра и дождя, сложенные саженьями; слабая тень падала от них косыми четверугольниками, – другой тени не было нигде. Лёгкий ветерок то просыпался, то утихал: подует вдруг прямо в лицо и как будто разыграется, – всё весело зашумит, закивает и задвигается кругом, грациозно закачаются гибкие концы папоротников, – обрадуешься ему... но вот уж он опять замер, и всё опять стихло. Одни кузнечики дружно трещат, словно озлобленные, – и утомителен этот непрестанный, кислый и сухой звук. Он идёт к неотступному жару полудня; он словно рождён им, словно вызван им из раскалённой земли.

Не наткнувшись ни на один выводок, дошли мы, наконец, до новых ссечек. Там недавно срубленные осины печально тянулись по земле, придавив собою и траву, и мелкий кустарник; на иных листья, ещё зелёные, но уже мёртвые, вяло свешивались с неподвижных веток; на других они уже засохли и покоробились. От свежих золотистобелых щепок, грудями лежавших около ярко-влажных пней, веяло особенным, чрезвычайно приятным, горьким запахом. Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам, торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево...

Долго не находил я никакой дичи; наконец из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел коростель. Я ударил; он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядил ружья и не поднял коростеля. Когда же я отправился далее, он подошёл к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови, покачал головой, пугливо взглянул на меня... Я слышал после, как он шептал: «Грех!.. Ах, вот это грех!»

Жара заставила нас, наконец, войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой, стройный клён красиво раскинул свои легкие ветки. Касьян присел на толстый конец срубленной берёзы. Я глядел на него. Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени тихо скользили взад и вперёд по его тщедушному телу, кое-как закутанному в тёмный армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимал головы. Наскучив его безмолвием, я лёг на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далёком светлом небе. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается под вами, что деревья не поднимаются от земли, но, словно корни огромных растений, спускаются, отвесно падают в те стеклянно-ясные волны; листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти чёрную зелень. Где-нибудь далеко-далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плёса, как будто движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака, и вот вдруг всё это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, – всё заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещущее лепетанье, похожее на

бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь – вы глядите: и нельзя выразить словами, как радостно, и тихо, и сладко становится на сердце. Вы глядите: та глубокая, чистая лазурь возбуждает на устах ваших улыбку, невинную, как она сама, как облака по небу, и как будто вместе с ними медлительной вереницей проходят по душе счастливые воспоминания, и всё вам кажется, что взор ваш уходит дальше и дальше и тянет вас самих за собой в ту спокойную, сияющую бездну, и невозможно оторваться от этой вышины, от этой глубины...

– Барин, а барин! – промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом.

Я с удивлением приподнялся; до сих пор он едва отвечал на мои вопросы, а то вдруг сам заговорил.

– Что тебе? – спросил я.

– Ну, для чего ты птишку убил? – начал он, глядя мне прямо в лицо.

– Как для чего?.. Коростель – это дичь: его есть можно.

– Не для того ты убил его, барин: станешь ты его есть! Ты его для потехи своей убил.

– Да ведь ты сам небось гусей или куриц, например, ешь?

– Та птица Богом определённая для человека, а коростель – птица вольная, лесная. И не он один: много её, всякой лесной твари, и полевой и речной твари, и болотной и луговой, и верховой и низовой – и грех её убивать, и пускай она живёт на земле до своего предела... А человеку пища положена другая; пища ему другая и другое питье: хлеб – Божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов.

Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно; он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностию, изредка закрывая глаза.

– Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать? – спросил я.

– У рыбы кровь холодная, – возразил он с уверенностию, – рыба тварь немая. Она не боится, не веселится: рыба тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней и кровь не живая... Кровь, – продолжал он, помолчав, – святое дело кровь! Кровь солнышка Божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь, великий грех и страх... Ох, великий!

Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью: так не говорят простолудины, и краснобаи так не говорят. Этот язык, обдуманно-торжественный и странный... Я не слыхал ничего подобного.

– Скажи, пожалуйста, Касьян, – начал я, не спуская глаз с его слегка раскрасневшегося лица, – чем ты промышляешь?

Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновение.

– Живу, как Господь велит, – промолвил он наконец, – а чтобы, то есть, промышлять – нет, ничем не промышляю. Неразумен я больно, с малъства; работаю пока мочно, – работник-то я плохой... где мне! Здоровья нет, и руки глупы. Ну, весной соловьёв ловлю.

– Соловьёв ловишь?.. А как же ты говорил, что всякую лесную, и полевую, и прочую там тварь не надо трогать?

– Убивать её не надо, точно; смерть и так своё возьмёт. Вот хоть бы Мартын-плотник: жил Мартын-плотник, и не долго жил и помер; жена его теперь убивается о муже, о детках малых... Против смерти ни человеку, ни твари не sluкавить. Смерть и не бежит, да и от неё не убежишь; да помогать ей не должно... А я соловушек не убиваю, – сохрани Господи! Я их не на мýку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье.

– Ты в Курск их ловить ходишь?

– Хожу я и в Курск и подале хожу, как случится. В болотах ночую да в залесьях, в поле ночую один, во глуши: тут кулички рассвистятся, тут зайцы кричат, тут селезни

стрекочут... По вечеркам замечаю, по утренничкам выслушиваю, по зарям обсыпаю сеткой кусты... Иной соловушко так жалостно поёт, сладко... жалостно даже.

– И продаёшь ты их?

– Отдаю добрым людям.

– А что ж ты ещё делаешь?

– Как делаю?

– Чем ты занят?

Старик помолчал.

– Ничем я этак не занят... Работник я плохой. Грамоте, однако, разумею.

– Ты грамотный?

– Разумею грамоте. Помог Господь да добрые люди.

– Что, ты семейный человек?

– Нетути, бессемейный.

– Что так?.. Перемёрли, что ли?

– Нет, а так: задачи в жизни не вышло. Да это всё под Богом, все мы под Богом ходим; а справедлив должен быть человек – вот что! Богу угоден, то есть.

– И родни у тебя нет?

– Есть... да... так...

Старик замылся.

– Скажи, пожалуйста, – начал я, – мне слышалось, мой кучер у тебя спрашивал, что, дескать, отчего ты не вылечил Мартына? Разве ты умеешь лечить?

– Кучер твой справедливый человек, – задумчиво отвечал мне Касьян, – а тоже не без греха. Лекаркой меня называют... Какая я лекарка!.. и кто может лечить? Это всё от Бога. А есть... есть травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для человека; вот подорожник тоже; об них и говорить не зазорно: чистые травки – Божии. Ну, а другие не так: и помогают-то они, а грех; и говорить о них грех. Еще с молитвой разве... Ну, конечно, есть и слова такие... А кто верует – спасётся, – прибавил он, понизив голос.

– Ты ничего Мартыну не давал? – спросил я.

– Поздно узнал, – отвечал старик. – Да что! Кому как на роду написано. Не жилец был плотник Мартын, не жилец на земле: уж это так. Нет, уж какому человеку не жить на земле, того и солнышко не греет, как другого, и хлебушек тому не впрок, – словно что его отзывает... Да; упокой Господь его душу!

– Давно вас переселили к нам? – спросил я после небольшого молчания.

Касьян встрепенулся.

– Нет, недавно: года четыре. При старом барине мы всё жили на своих прежних местах, а вот опека переселила. Старый барин у нас был кроткая душа, смиренник, – Царство ему Небесное! Ну, опека, конечно, справедливо рассудила; видно, уж так пришлось.

– А вы где прежде жили?

– Мы с Красивой Мечи.

– Далеко это отсюда?

– Вёрст сто.

– Что ж, там лучше было?

– Лучше... лучше. Там места привольные, речные, гнездо наше; а здесь теснота, сухмень... Здесь мы осиротели. Там у нас, на Красивой-то на Мечи, взойдёшь ты на холм, взойдёшь – и, Господи Боже мой, что это? а?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. Вот как далеко видно... Смотришь, смотришь, ах ты, право! Ну, здесь, точно, земля лучше: суглинок, хороший суглинок, говорят крестьяне; да с меня хлебушка-то всюду вдоволь народится.

– А что, старик, скажи правду, тебе, чай, хочется на родине-то побывать?

– Да, посмотрел бы. А впрочем, везде хорошо. Человек я бессеме́йный, непосе́д. Да и что! много, что ли, дома-то высидишь? А вот как пойдёшь, как пойдёшь, – подхватил он, возвысив голос, – и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и Богу-то ты видней, и поётся-то ладнее. Тут, смотришь, трава какая растёт; ну, заметишь – сорвёшь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьёшься – заметишь тоже. Птицы поют небесные... А то за Курском пойдут степи, этакie степные места, вот удивленье, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот Божия-то благодать! И идут они, люди сказывают, до самых тёплых морей, где живёт птица Гамаюн⁵ сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живёт всяк человек в довольстве и справедливости... И вот уж я бы туда пошёл... Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромен ходил, и в Синбирск – славный град, и в самую Москву – золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видал, добрых хрестьян, и в городах побывал честных... Ну, вот пошёл бы я туда... и вот... и уж и... И не один я, грешный... много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут... да!.. А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, – вот оно что...

Эти последние слова Касьян произнес скороговоркой, почти невнятно; потом он ещё что-то сказал, чего я даже расслышать не мог, а лицо его такое странное приняло выражение, что мне невольно вспомнилось название «юродивца», данное ему Ерофеем. Он потупился, откашлянулся и как будто пришёл в себя.

– Эко солнышко! – промолвил он вполголоса, – эка благодать, Господи! эка теплынь в лесу!

Он повел плечами, помолчал, рассеянно глянул и запел потихоньку. Я не мог уловить всех слов его протяжной песенки; следующие послышались мне:

А зовут меня Касьяном,
А по прозвищу Блоха...

– «Э! – подумал я, – да он сочиняет...»

Вдруг он вздрогнул и умолк, пристально всматриваясь в чащу леса. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку, лет восьми, в синем сарафанчике, с клетчатым платком на голове и плетёным кузовком на загорелой голенькой руке. Она, вероятно, никак не ожидала нас встретить; как говорится, наткнулась на нас, и стояла неподвижно в зелёной чаще орешника, на тенистой лужайке, пугливо поглядывая на меня своими чёрными глазами. Я едва успел разглядеть её: она тотчас нырнула за дерево.

– Аннушка! Аннушка! подь сюда, не бойся, – кликнул старик ласково.

– Боюсь, – раздался тонкий голосок.

– Не бойся, не бойся, поди ко мне.

Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругом, – её детские ножки едва шумели по густой траве, – и вышла из чащи подле самого старика. Это была девушка не восьми лет, как мне показалось сначала, по небольшому ее росту, – но тринадцати или четырнадцати. Всё её тело было мало и худо, но очень стройно и ловко, а красивое личико поразительно сходно с лицом самого Касьяна, хотя Касьян красавцем не был. Те же острые черты, тот же странный взгляд, лукавый и доверчивый, задумчивый и пронизательный, и движенья те же... Касьян окинул её глазами; она стояла к нему боком.

– Что, грибы собирала? – спросил он.

– Да, грибы, – отвечала она с робкой улыбкой.

– И много нашла?

⁵ Гамаюн – подоби́е птицы Си́рин.

– Много. (Она быстро глянула на него и опять улыбнулась.)

– И белые есть?

– Есть и белые.

– Покажь-ка, покажь... (Она спустила кузов с руки и приподняла до половины широкий лист лопуха, которым грибы были покрыты.) Э! – сказал Касьян, нагнувшись над кузовом, – да какие славные! Ай да Аннушка!

– Это твоя дочка, Касьян, что ли? – спросил я. (Лицо Аннушки слабо вспыхнуло.)

– Нет, так, сродственница, – проговорил Касьян с притворной небрежностью. – Ну, Аннушка, ступай, – прибавил он тотчас, – ступай с Богом. Да смотри...

– Да зачем же ей пешком идти? – прервал я его. – Мы бы её довели...

Аннушка загорелась, как маков цвет, ухватилась обеими руками за верёвочку кузовка и тревожно поглядела на старика.

– Нет, дойдёт, – возразил он тем же равнодушно-ленивым голосом. – Что ей?.. Дойдёт и так... Ступай.

Аннушка проворно ушла в лес. Касьян поглядел за нею вслед, потом потупился и усмехнулся. В этой долгой усмешке, в немногих словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он говорил с ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нежность. Он опять поглядел в сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себе лицо, несколько раз покачал головой.

– Зачем ты её так скоро отослал? – спросил я его. – Я бы у неё грибы купил...

– Да вы там, всё равно, дома купите, когда захотите, – отвечал он мне, в первый раз употребляя слово «вы».

– А она у тебя прехорошенькая.

– Нет... какое... так... – ответил он, как бы нехотя, и с того же мгновенья впал в прежнюю молчаливость.

Видя, что все мои усилия заставить его опять разговориться оставались тщетными, я отправился на ссечки. Притом же и жара немного спала; но неудача, или, как говорят у нас, незадача моя продолжалась, и я с одним коростелем и с новой осью вернулся в выселки. Уже подъезжая ко двору, Касьян вдруг обернулся ко мне.

– Барин, а барин, – заговорил он, – ведь я виноват перед тобой; ведь это я тебе дичь-то всю отвёл⁶.

– Как так?

– Да уж это я знаю. А вот и учёный пёс у тебя и хороший, а ничего не смог. Подумаешь, люди-то, люди, а? Вот и зверь, а что из него сделали?

Я бы напрасно стал убеждать Касьяна в невозможности «заговорить» дичь и потому ничего не отвечал ему. Притом же мы тотчас повернули в ворота.

В избе Аннушки не было; она уже успела прийти и оставить кузов с грибами. Ерофей приладил новую ось, подвергнув её сперва строгой и несправедливой оценке; а через час я выехал, оставив Касьяну немного денег, которые он сперва было не принял, но потом, подумав и подержав их на ладони, положил за пазуху. В течение этого часа он не произнес почти ни одного слова; он по-прежнему стоял, прислонясь к воротам, не отвечал на укоризны моего кучера и весьма холодно простился со мной.

Я, как только вернулся, успел заметить, что Ерофей мой снова находился в сумрачном расположении духа... И в самом деле, ничего съестного он в деревне не нашёл, водопой для лошадей был плохой. Мы выехали. С неудовольствием, выражавшимся даже на его затылке, сидел он на козлах и страх желал заговорить со мной, но, в ожидании первого моего вопроса, ограничивался лёгким ворчаньем вполголоса и поучительными, а иногда язвительными речами, обращёнными к лошадям. «Деревня! – бормотал он, – а ещё деревня! Спросил хошь квасу – и квасу нет... Ах ты, Господи! А вода – просто тьфу! (Он плюнул вслух.) Ни огурцов, ни квасу

⁶ Прочитал заговор.

– ничего. Ну ты, – прибавил он громко, обращаясь к правой пристяжной, – я тебя знаю, потворица этакая! Любишь себе потворствовать, небось... (И он ударил её кнутом.) Совсем отлукавилась лошадь, а ведь какой прежде согласный был живот... Ну-ну, оглядывайси!..»

– Скажи, пожалуйста, Ерофей, – заговорил я, – что за человек этот Касьян?

Ерофей не скоро мне отвечал: он вообще человек был обдумывающий и неторопливый; но я тотчас мог догадаться, что мой вопрос его развеселил и успокоил.

– Блоха-то? – заговорил он наконец, передёрнув вожжами. – Чудной человек: как есть юродивец, такого чудного человека и несоро найдёшь другого. Ведь, например, ведь он ни дать ни взять наш вот саврасый: от рук отбился тоже... от работы, то есть. Ну, конечно, что он за работник, – в чём душа держится, – ну, а нес-таки... Ведь он сизмальства так. Сперва он со дядьями со своими в извоз ходил: они у него были троечные; ну, а потом, знать, наскучило – бросил. Стал дома жить, да и дома-то не усиживался: такой беспокойный, – уж точно блоха. Барин ему попался, спасибо, добрый – не принуждал. Вот он так с тех пор всё и болтается, что овца беспредельная. И ведь такой удивительный, Бог его знает: то молчит, как пень, то вдруг заговорит, – а что заговорит, Бог его знает. Разве это манер? Это не манер. Несобразный человек, как есть. Поёт, однако, хорошо. Этак важно – ничего, ничего.

– А что, он лечит, точно?

– Какое лечит!.. Ну, где ему! Таковский он человек. Меня, однако, от золотухи вылечил... Где ему! глупый человек, как есть, – прибавил он, помолчав.

– Ты его давно знаешь?

– Давно. Мы им по Сычовке соседи, на Красивой-то на Мечи.

– А что эта, нам в лесу попалась девушка, Аннушка, что, она ему родня?

Ерофей посмотрел на меня через плечо и осклабился во весь рот.

– Хе!.. да, сродни. Она сирота: матери у ней нету, да и неизвестно, кто ее мать-то была. Ну, а должно быть, что сродственница: больно на него смахивает... Ну, живёт у него. Вострая девка, неча сказать; хорошая девка, и он, старый, в ней души не чаёт: девка хорошая. Да ведь он, вы вот не поверите, а ведь он, пожалуй, Аннушку-то свою грамоте учить вздумает. Ей-ей, от него это станется: уж такой он человек неабнакавенный. Непостоянный такой, несоразмерный даже... Э-э-э! – вдруг перервал самого себя мой кучер и, остановив лошадей, нагнулся набок и принялся нюхать воздух. – Никак гарью пахнет? Так и есть! Уж эти мне новые оси... А, кажется, на что мазал... Пойти водицы добыть: вот кстати и прудик.

И Ерофей медлительно слез с облучка, отвязал ведёрку, пошёл к пруду и, вернувшись, не без удовольствия слушал, как шипела втулка колеса, внезапно охваченная водою... Раз шесть приходилось ему на каких-нибудь десяти верстах обливать разгорячённую ось, и уже совсем за вечерело, когда мы возвратились домой.